

НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО

The background of the poster features a man and a woman in 17th-century Russian attire standing on a rooftop. The man, in the foreground, wears a dark fur-trimmed coat with ornate metal clasps. The woman, behind him, wears a patterned dress and a crown. In the background, the Moscow Kremlin and its golden-domed cathedrals are visible under a dramatic, cloudy sky at sunset or sunrise. A river with small figures of people is in the lower right.

ШУЙСКИЙ.
Хроники Смуты-2



Николай Ткаченко

Шуйский. Хроники Смуты-2

<https://litres.ru/74657454>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва начала XVII века. Время, когда слухи становятся оружием, а история — полем боя. Главный герой, человек из будущего, скрывающийся под личиной писаря в доме Шуйских, обладает страшным даром — он знает, как всё было на самом деле и чем всё закончится.

Получив доверие дьяка Семёна Годунова, герой отправляется в военный поход под Кромь. Там, используя тактические знания из прошлой жизни, он помогает царским воеводам разбить войско самозванца, но понимает страшную истину.

Чтобы поставить точку в главном вопросе эпохи, герой едет в Углич. В сырой подвальной камере он читает сшитое наспех дело о смерти царевича Дмитрия, а затем находит единственного живого свидетеля — безумного звонаря.

Смерть Бориса Годунова на смотровой вышке открывает дорогу хаосу. Москва с надеждой встречает «истинного царевича». Василий Шуйский, публично кается в старой лжи и призывает народ служить спасённому сыну Грозного, готовя почву для собственного воцарения.

Николай Ткаченко

Шуйский.

Хроники Смуты-2

Глава 1

Самозванец пришел не из леса, как Хлопко, а из слухов. Разговоры о нем поползли сначала на торгу, потом в приказах, а уж после, по вечерам, и в доме у дяди. Бояре говорили, понизив голос: «царевич Димитрий жив, объявился в Литве, идет с войском на Москву».

Я слушал молча и не возражал, хотя и знал, что это за «царевич». Знал лучше тех, кто о нем слал вести.

Борис Федорович разом от этих слухов сдал. Дядя ездил в Думу, приезжал оттуда мрачный. Рассказывал, что государь не спит, а на допросах спрос теперь не про воров, а про то, кто видел мальчика в Угличе.

Гудела Москва, как кипящий котел, у которого вот-вот сорвет крышку. Впервые я почувствовал в этом гуле то, чего при Хлопко не было: народ теперь не боялся, а ждал того, кто придет и все переменит.

Спустя две недели после венчания за мной прислали от Семена. Не с приставом, а с его дворовым.

- Дьяк просит княжича к себе, по делу о счете, - заявил гонец.

Я понял, что речь пойдет не о деньгах, а о самозванце. Дядя велел ехать, но взять с собой холодную голову, а язык держать за зубами.

Семен принял меня в приказе, где на стенах были развешаны карты, а на столе лежала развернутая бумага с чертежом южных городов. Игра в доброго соседа закончилась. Он смотрел прямо, устало, под глазами у него легли тени, каких я не помнил.

- Государь велел мне спросить у людей сведущих, как ловить того, кто зовет себя царевичем, — начал дьяк без долгих предисловий. — Зову я не всех. Тебя позвал, потому как ты у Шуйских за писаря. Но я вижу, что ты не писарь. Ты, вперед считать умеешь, как в той шайке. Вот и сочти мне.

Я подсел к столу, взглянул на чертеж. Названия эти были мне знакомы из прошлой жизни, в которой они были главами из учебника, но здесь обжигали огнем.

- Ловить его не надо, - сказал я. - Он сам к вам придёт, если вы встанете, где надо.

- Это как?

- Он держится южными городами. Путивль, Чернигов, Кромь - там его кормят и там его люди. Если он останется в Путивле, его не достать. А если ему дать повод выйти в поле - он выйдет, потому что ему надо брать Москву, а не сидеть в Путивле. У него войско сборное: казаки, беглые, поляки, которым он наобещал золота. Оно в поле крепко первым ударом, а коли удар выдержат, так и сыплется. Значит,

нам встать следует под Кромами, да на стены не лезть, а выманить его на себя. И бить не в лоб, а во фланг, где у него чернь. Там же у него и обоз. Если его взять, то и он сам побежит.

Семён слушал, не перебивая, и в глазах его я видел, как он оценивает мои слова.

- Откуда ты знаешь про его обоз и про фланги? - спросил он тихо.

- Так оттуда же и знаю, откуда цены на зерно знал, - ответил я. - Но только теперь это в вашу пользу.

Дьяк долго молчал, потом слегка усмехнулся:

- Хорошо. Я передам воеводам. А ты поедешь с войском.

- Я не ратник. С меня какой воин?

- Да мне не ратник нужен. Мне нужен человек, который будет при воеводе, и в нужный час шепнёт то, что мне сейчас сказал. В походе всё меняется, твой расчёт тоже измениться может... - Он поднялся, одёрнул кафтан. - Дядю твоего государь ставит в полки. При нём поедешь. Не как советник - как писарь при обозе. Но я буду знать, кто ты на самом деле.

Я вернулся домой и рассказал дяде. Тот выслушал, помолчал, глядя в печь.

- Это Годунов тебя не отпускает, - сказал он наконец. - Не Семён. Годунову нужен тот самый Книжник, что считает вперёд. Думает, ты ему самозванца поймашь.

- А что если и поймаю? Что тогда? Усилю Годунова, и он нас же потом сотрёт.

Дядя покачал головой.

- Самозванца тебе не поймать. Его никто не поймает, пока за него стоят южные города. Но в походе ты можешь сделать другое: поглядеть на него вблизи. Я ведь помню, что ты мне про него не договариваешь. Ты знаешь, кто он такой.

Я промолчал. Дядя не стал давить, только сказал, уже от дверей:

- Ступай. Будь при мне, и не лезь вперёд. И помни: эта война не твоя. Твоя начнётся после.

Полки выступили из Москвы в начале зимы, по первому санному пути, и шли на юг, к Кромам. Туда, по вестям, стягивался самозванец. Дядя держался при ставке, а я - при обозе, как велел Семён: в бумагах, в счёте фуража и хлеба, и никто из воевод не знал, что этот худой писарь в простом зипуне по ночам шепчет Шуйскому, куда поставить полки.

Мне было тошно. Оттого, что снова я шёл чужим в чужой войне. И оттого, что знал: эта война - первая, в которой я по-настоящему на стороне Бориса. Не из-за любви к нему, а по расчёту, который я сам себе объяснял, но в который сам же не до конца верил. Если самозванец возьмёт Москву, то сметёт и Годуновых, и тех, кто за них стоял. А за ними стоял и род Шуйских. Пока...

У Добрынич царские полки встали лагерем. Гонцы приносили разные вести. Доходило до дяди, что вор идёт от Севска с большим нарядом. В войске у него польские роты, запорожцы, донцы и тьма голодной черни, которой он пообещал

волю. На военном совете воеводы спорили, стоит ли лезть ему навстречу или лучше ждать за обозом.

Я молчал, так как говорить мне было не по чину. Да и никто не стал бы слушать какого-то юнца. Но ночью, у костра, тихонько сказал дяде то, что знал из учебников. А здесь это звучало как пророчество:

- Они ударят первыми. В наступление пойдут на рассвете, всей конницей, в лоб, чтобы смять до того, как мы успеем развернуться в боевые порядки. Но наша сила не в лобовом ударе заключается, а в стоящей за обозом пехоте. И в наряде. Пусть конница вперед не рвется, а пусть расступится, даст им дорогу и в себя втянет. Тогда польские роты увязнут, а чернь их, как пушки увидит, побежит. Поляки без черни – горсть, сами ничего не смогут.

Дядя выслушал, покивал головой в знак согласия, а утром передал воеводам так, будто додумался до этого сам. Ему поверили: Шуйского в ратном деле слушали.

Как я и предсказывал, самозванец ударил в сером, мутном рассвете. Сначала донёсся конский топот, потом из-за реки, с белого поля, вынесло тёмную конную лаву. За ней, во всю ширь, повалила пешая чернь с косами, ослопами и самодельными пиками. Вой стоял такой, что у меня заложило уши.

Я был у обоза, среди возов с рожью и саней с нарядом, и наблюдал за нашей конницей, которая, вместо того чтобы кинуться навстречу, попятилась, развернулась и стала отходить, увлекая противника вперёд.

Это был расчёт, и он сработал. Польские роты, разгорячённые отходом, рванули за ними, сбились в кучу, потеряли строй. И тогда из-за возов, разом, ударили пушки.

Земля под ногами вздрогнула. Темные фигуры замесались в выросшей над полем стене дыма. Конница самозванца смешалась. Кони шарахались, вставали на дыбы, сбрасывая седоков. Потом ударила наша пехота, что пряталась за возами: во фланг - туда, где стояла чернь.

Я видел, как она бежит. Первой, побросав косы и пики, словно потерявшее предводителя стадо, в котором начался огонь. За ней покатились запорожцы, за ними - остатки польских рот. И не было в этом бегущем, воющем поле, уже ни правых, ни виноватых, а только дым, кровь на снегу и пронзительные крики, от которых становилось жутко.

Царские воеводы бросили вдогон конницу. Началась долгая и грязная рубка. Я остался у обоза, про себя повторяя: вот она, твоя победа, вот что бывает, когда твой расчёт слушают. А внутри было пусто, как в пересохшем от жары колодце. Я знал, что не взяли самого главного...

Бой утих к вечеру. Снег у реки был истоптан тысячами ног и чёрен от золы и крови. Уставшие люди ходили по полю, собирая раненых, откуда-то сбоку несли на шинелях чьё-то безжизненное тело. Дядя вернулся в ставку уже затемно, мокрый, с чужой саблей на поясе. Лицо у него было не победное, а злое.

- Разбили, - сказал он, не глядя на меня. - Вдребезги его

рать поганую разбили. А самого упустили.

- Ушёл? - спросил я, хотя и знал ответ на этот вопрос заранее.

- Ушёл, собака. Через реку, вплавь, на чьём-то коне. Ищи его теперь по оврагам.

Дядя сел, стянул шапку, вытер лицо рукавом. Я смотрел на него и понимал: для него эта победа - хуже поражения. Для Бориса тоже. Потому что имя весть о самозванце разлетится по всей земле, и каждый скажет: «Царевич жив, сам государь не взял его».

Я вышел из шатра. К ночи мороз стал крепче. Над белым полем, где только что умирали люди, вставали колкие как иглы звёзды. Где-то далеко, за рекой, слышалось уханье филина.

Я стоял и думал, что самозванец для этих людей - не вор, а надежда. И я почти помог разбить надежду, но она всё равно ушла за реку и осталась жить. И что Борис, которого я сейчас усилил, от этого крепче от этого не стал. Ведь он понял, что даже победа не смогла избавить его от призрака.

Сон в ту ночь не шел. Я сидел у костра, глядел, как догорают головни, и впервые за долгое время не пытаюсь ничего считать. Что будет дальше, мне было известно. Известно, что вор снова поднимется весной, что города, молчащие сейчас, откроют ему ворота, что до конца этой войны царь не доживет. Как знал и то, что ничего из этого отменить не в силах. Потому, что сам только что сделал так, чтобы всё шло как

должно идти.

Сразу после возвращения полков Семён вызвал меня к себе, не дав даже отогреться с дороги. В приказе было душно, дьяк сидел у заваленного бумагами стола. Казалось, он уже неделю не выходит из этой комнаты. Сесть он не предложил, дождался, пока за мной закроется дверь, и заговорил тихо, будто за стеной стояли.

- Государь просил передать тебе одно дело. Не от приказа - от него самого. Личное...

Я помолчал, ожидая продолжения.

- Желает он знать, мог ли тот, кого похоронили в Угличе под именем царевича Димитрия, выжить на самом деле. Может и впрямь не вор то идёт на Москву под чужим именем, а настоящий. Понимаешь, о чём я?

- Понимаю.

- Точка в этом деле ему нужна. И поставить ее можешь только ты. - Семён наконец поднял на меня глаза. - Не пересуды, не бабьи сказки, а бумага: допросные, следственные листы, живые свидетели, которые еще помнят девяносто первый год. Всё, что в приказе есть, - твоё. Комай, читай, разбирайся. Ну, а чего в бумагах нет – искать поедешь. В Углич.

Дьяк подвинул ко мне тяжелую связку ключей на железном кольце.

- Это от дальнего сундука в архиве. Там дело угличское и лежит... сколько осталось. Только помни: что найдёшь - не для огласки. Мне лично в руки. Сам наружу выносить то, что

прочтёшь, не вздумай. За такие бумаги у нас головы рубят.

Я подумал, что Семён мог мне этого и не говорить. Что бывает в семнадцатом веке с теми, кто язык за зубами не держит, мне было слишком хорошо известно. Я взял ключи. Они были холодные, как и всё в этом приказе.

- Но почему я? - осмелился я задать вопрос.

Семён выдержал паузу, будто решал, надо ли отвечать. Потом отошел к заледеневшему оконцу, посмотрел на улицу и с расстановкой произнес:

- Потому что ты читать то умеешь, что между строк написано. И потому что государь ни мне, ни боярам, не верит. А тебе вот верит. Ты ему победу под Добрыничами принес. Теперь и про Углич правду принеси.

Я молча кивнул, поклонился и пошёл к двери.

Уже у порога Семен добавил:

- Если правду откроешь, княжич, можешь просить у государя, что пожелаешь. Ну, и у меня тоже... Только не тяни: время на вора работает, а не на нас.

Архив оказался подвальной каморкой за приказом, сырой, с земляным полом и стенами, на которых от сырости шелушилась известь. Я с трудом отпер стоявший в углу под грудой старых мешков дальний сундук. Ключ со скрипом проворачивался в заржавевшем замке.

Листы внутри, перевязанные пенькой, пахли, как пахнет бумага, пролежавшая годы в темноте и сырости. В нос ударил запах плесени, мышиного помета и тлена.

Я читал при свече, сидя прямо на холодном глиняном полу. С каждым листом в груди у меня росло особое чувство: я лично прикасался к истории, изучая ее не по школьному учебнику, а по допросным листам. И стояли за ними не бумаги, а живые люди, которые кричат, запираются и оговаривают друг друга. Дело об убийстве царевича Дмитрия было настолько запутанное, что, похоже, сшивали его второпях и чужими руками.

Первым шёл допрос кормилицы, которая несла царевича к обедне. В показаниях мамка путалась. То видела она, как мальчик упал на нож сам, в припадке падучей, то рассказывала, будто «набежали люди» и зарезали его у неё на глазах. Потом – дворовый мужик, который слышал крик, но сам из сеней не выходил, «боялся».

Потом - вдова, что кричала на дворе: «Царевича убили!». А на допросе твердила, что и сама не знает, зачем кричала, мол, «по бабьему неразумию». Слова двоились, показания расходились. За всем этим ясно виделось мне одно: с самого начала следствие правды искать не собиралось. Искало оно, на кого можно все повесить, да дело быстрее в архив списать.

К утру у меня от прочитанного ломило в висках, но бумаги затягивали, как болото: оторваться от них было трудно. В тетрадку свою я выписал тех, кто тогда выжил. Кормилица. Если она жива, должно быть стара, но в Угличе. Дворовый. Тот, что слышал крик. Вдова-кликуша.

И ещё одно имя, мелькнувшее в листах дважды: пономарь

соборной церкви, который в набат бил, созывая народ. Допрашивали его отдельно, однако листа с его показаниями в сундуке не было. Будто вынули. Мне казалось, что здесь может крыться разгадка.

С рассветом я опустил тяжелую крышку сундука, вышел из архива на мороз и долго стоял у стены. Нужно было ехать. Узнавать все не по бумагам, а у живых людей, если кто еще остался.

Дядя, узнав, куда я собрался, покашлял и сказал:

— Смотри, племянник, Углич - это рана, которую Годунов сам себе оставил. Возьмись не зато - и рана откроется на тебе. Я ведь сам то расследование тогда вел. И свидетелей опрашивал. Да так правды и не дознался.

- Но государь хочет правду знать. Если ее Семён принесёт, так мы все у него в долгу будем. А если я принесу, то и долг мой будет.

Он пожевал губами, раздумывая о чем-то своем.

— Езжай. Может статься, тебе повезет больше, чем мне тогда. Только вернись с тем, что на стол положить можно, а не с тем, за что на плаху кладут.

В Углич я выехал на третий день, один, в простом возке, с тетрадкой за пазухой. За кучера был дядин человек. Лошадей он не гнал. Зима стояла крепкая, дороги держали, за окном проплывали, как в сказке, белые поля, овраги да редкие сёла, притихшие, словно перед неминуемой бедой.

К вечеру показался город с маковками храмов, надoble-

денелой Волгой слышался колокольный звон. Я вышел из возка у постоялого двора, вдохнул морозный воздух и впервые подумал: вот здесь, на этом самом льду, под этими колоколами, все и началось, что на Москву теперь катится как снежный ком.

Ходить по улицам и спрашивать дорогу я не стал. Город был невелик, поэтому всё в нём сходилось к одному месту - к собору над Волгой, с колокольной, с которой, если верить бумагам, и подняли тот набат.

Знал я и то, что о деле девяносто первого года вслух здесь не говорят, а только перешептываются, оглядываясь по сторонам. Я снял угол на постоялом дворе, переоделся в одежду поплотнее и лег спать.

А наутро отправился к собору. Утренняя служба уже закончилась, народ разошёлся. Только старуха в чёрном платке на паперти продавала свечи, перебирая их заледеневшими пальцами. Я купил свечу и заговорил, не торопясь, стараясь походить на заезжего богомольца или паломника.

- Скажи-ка, матушка, а правда ли, что у вас тут царевича схоронили? Мне бы могилке поклониться...

Она посмотрела на меня цепким, настороженным взглядом, как у человека, которого об этом не раз уже спрашивали. И не раз он отвечал одно и то же.

- Поклониться можно, - сказала она тихо. - А говорить про то не велено. Езжай-ка ты, мил человек, дальше. Искать тут тебе нечего.

- А я и не ищу... Я и так помню. Только месту поклониться хотел...

Старуха пристально посмотрела на меня, потом отвела глаза к реке, где на льду чернели прорубленные накануне рыбаками лунки.

- Место то и всяк знает. В соборе, у левого клироса. Только ты, коли помнишь, так тихо помни. А и того лучше – забудь. Тут за память и на дно уходят.

Больше расспрашивать я не стал. Пошёл в собор, постоял у левого клироса, где лежал под каменной плитой мальчик, которого в этой жизни я знал только по бумагам. Холод пробирал до костей, а мысли от этого делались ясные, острые. Я смотрел на плиту и думал: вот здесь лежит тот, чьим именем теперь идёт война. Но лежит ли?

На выходе меня нагнал мужик в тулупе, с рваной серьгой в ухе. Его я заметил ещё на паперти. Близко он не подходил, но шёл за мной до самого постоянного двора. Я понял: за мной следят. Это указывало на то, что я сделал всё правильно: в городе еще есть те, кто что-то помнит, и за ними тоже приглядывают.

Вечером я вышел во двор, будто по нужде, и столкнулся у колодца с бабой, что носила дрова на постоянный двор. На вид она не была старая, однако из-под черного платка выбивались седые пряди, а руки были все красные, в цыпках. Я хотел было заговорить с ней, но она опередила меня.

- Тебе чего, парень? - спросила она хриловатым низким

ГОЛОСОМ.

- Мне бы с человеком поговорить, который в девяносто первом году при дворе царевича был. С кормилицей его. Говорят, жива она еще.

Баба замерла, ведро в её руке качнулось, расплескав воду.

- Это кто ж такое говорит? – уставилась она не меня немигающим взглядом.

- В бумагах написано... Из Москвы я, по государеву слову: не с худом, а за правдой.

Она оглянулась на ворота, на тёмные окна двора, потом вдруг схватила меня за рукав и резко потащила в угол, за поленницу.

- Ты, ежели от государя, так и сам знаешь: нет её. Померла кормилица-то. В ту же осень, как следствие кончили, и померла. В бане удавилась. И дворовый тот помер. Тоже не сам: задрали его. Сказывали, медведя на него науськали. Но про то никто тебе не скажет. А пономаря в Москву увезли, и с тех пор никто его не видал.

Я уже начал понимать, что, видимо, уезжать отсюда придется ни с чем. И докладывать Семёну будет нечего. А это означало полный провал.

Картина в моей голове складывалась ясная и страшная: живых свидетелей убирали не из угличского усердия, а по приказу из Москвы, чтобы правда не вышла наружу. Те, кто мог сказать, что случилось на дворе в тот полдень, либо давно в земле лежали, либо я яме сидели.

- А может жив ещё кто? - спросил я тихо, ни на что особо не надеясь, больше для порядка.

- Жив один. - Баба наклонилась к самому моему уху и зашептала. - Только он не свидетель, он сам от той правды ума лишился. - Она мелко перекрестилась. - Звонарь, что в набат бил. Он с той поры не в себе. Мычит, по ночам ходит к собору и всё в колокол лезет, а звонить боится. Ну его тут за блаженного держат, кормят Христа ради. Может, он тебе и скажет что...

Я хотел отблагодарить её, сунул в руку деньги, но она оттолкнула.

- Серебра твоего мне не надобно. Лучше уезжай, москвич. Тут и так могила на могиле. А правду ту многие искали, да не один не нашел.

С этими словами баба повернулась и быстро заспешила прочь, не оглянувшись, слышно было только, как стукнула калитка.

Полночи я лежал на жёсткой лавке и слушал, как бьется в окна ветер, как скрипят ставни, и всё прокручивал в памяти услышанное. Кормилица удавилась. Дворовый зарезан. Пономарь в Москве сгинул. Оставался один безумный звонарь, тот, что в набат бил. Если в нём ещё теплится хоть обрывок памяти, это единственная нить к тому, что произошло тогда.

К нему я решил пойти сразу же, как рассветет, пока город еще не проснулся и пока не поднялся мой провожатый в тулупе. Однако вышло иначе.

Едва я начал дремать, как в дверь тихонько постучали. Я вскочил и сел на лавке, нашаривая нож, и готовясь защищаться. Но за дверью, прижавшись лицом к щели, стояла та самая баба с дровами.

- Не удивляйся, собирайся, - шепнула она. - Звонарь у собора. Нынче хуже ему - он в колокол полез, а его сторож не пустил. Сидит на паперти, мычит. Только ты один не ходи: за тобой смотрят. Я тебя задами проведу.

Я оделся, сунул за пазуху тетрадь и вышел. Баба вела меня огородами, по узкой тропе вдоль оград, в темноте только и было слышно, как скрипит под ногами нетоптанный снег. У собора мы остановились под небольшим навесом, где висели малые колокола.

Глава 2

На приступке возле храма сидел человек. Он не был похож на старика: на вид ему было, может, чуть за сорок, но лицо его, серое, как зола от дров, казалось лицом девяностолетнего. Мужчина сидел, обхватив колени, и раскачивался. Он издавал ровный и тонкий звук, напоминающий слабый стон.

- Это он, - шепнула баба, хотя я и так без нее уже все понял. - Иди. Только не пугай его. Он чужих боится.

Я приблизился и присел рядом на холодные камни. Звонарь не поменял позы и не поднял головы. Я молчал, глядя на тёмную Волгу, ожидая, когда он перестанет раскачиваться. Но так и не дождался.

- Ты в набат бил? — спросил я тихо, адресуя вопрос куда-то в пустоту перед собой. - В тот день, когда на дворе кричали.

Звонарь замер. Звук резко оборвался, словно лопнула струна. Он медленно, как человек, который не может поверить своим ушам, обернулся ко мне.

В его глазах не было безумия. Но в них отражался ужас человека, который тринадцать лет носит в себе то, что нельзя ни рассказать, ни забыть.

- Колокол... - Прошептал он. - Я звонил. А они пришли и сняли меня. И язык вырвали. С той поры мне всё чудится, что звон тот идёт, а голоса нет.

- А голос чей был? - спросил я, наклоняясь к самому его лицу.

- Мальчика, - выдохнул старик. - Он упал. А я это видел. И понял, что не сам упал.

Я замер.

- Не сам? Ему помогли? Его толкнули? Кто это был?

Звонарь посмотрел на меня, и в его глазах на миг промелькнула искра разума. Казалось, он испугался, что у него вырвут память, как вырвали язык у колокола.

- Нет, не толкнул, - продолжил он. - Никто не толкал. Сам царевич. Но не от падучей. Играл он. И ножик у него был. И кто-то позвал его. - Старик зажмурился, затряс головой. - Не спрашивай. Меня за это уже раз спрашивали. Я сказал, а они не поверили. Они хотели, чтобы я сказал, что зарезали. А я

видел, что не зарезали. Сам он упал, только не от болезни. Его позвали, он обернулся и сорвался.

- Кто позвал? - Я взял звонаря за плечи и потряс, но он лишь весь сжался, как от удара.

- Тот, кто за оградой стоял. Лица не видно было. Только руку. Белую, без рукавицы, в перстне. И она его поманила. А он узнал её и засмеялся. Потом сделал шаг и упал.

Он замолчал и отвернулся, будто выговорил всё, что мог, и теперь стал пуст, как тот колокол без языка.

Я еще посидел рядом со стариком, не убирая рук с его плеч, не зная, чем могу его отблагодарить. Но денег он бы не взял: такие люди денег уже не понимают. Тогда я снял с пояса нож, тот самый, что дали мне на первом дуване в шайке Хлопко, простой, с костяной рукоятью, и вложил ему в ладонь.

- Держи, это тебе. Не за слова... За то, что донёс их до меня, не утопив в молчании. Теперь ты больше не колокол без языка. Ты человек, который наконец выговорился.

Звонарь сжал нож в руке, даже не посмотрев на него, и впервые за всё время поднял на меня глаза без ужаса.

- А ты его возьмёшь? - спросил он. - Того, кто стоял тогда за оградой?

- Нет, его уже давно на этом свете нет, - покачал головой я.

Он кивнул, будто понял больше, чем я сказал, и снова устался на тёмную Волгу. Баба тронула меня за плечо: пора. Я поднялся и пошёл, не прощаясь и не оглядываясь, но

ещё долго слышал за спиной, как старик постукивает рукояткой ножа по приступку. Это был тихий мерный стук, отбивающий такт удаляющимся шагом.

Всю дорогу до Москвы я прокручивал в голове слова звоня, которые никак не хотели уходить. Белая рука... без рукавицы... в перстне. Мальчик узнал её и засмеялся. И шагнул. И упал.

Я почти наверняка догадывался, даже знал, чья это была рука. Не по бумагам, а по тому, как всё это складывалось в одну жуткую картину. Кто мог стоять за оградой угличского двора и поманить ребёнка так, что тот пошёл на зов, забыв про нож в руке? Кого царевич узнал бы даже сквозь годы, в которых отец его почти не видел? Кому он улыбнулся бы, как улыбаются родному? Только одному человеку. Тому, кого уже двадцать лет как не было среди живых, но кто и после смерти не отпускал свой род.

Иоанн Васильевич. Грозный. Сомнений никаких не было: это были его рука, его перстень и его зов.

От этой догадки меня пробрало холодом изнутри. Вышло, что мальчика не зарезали люди Годунова и не убил припадок. Его поманил собственный отец. Из-за ограды, с той стороны, откуда не возвращаются. Но он вернулся.

И сын бросился отцу навстречу, потому что узнал его. А следствие, как это всегда бывает с правдой, которая больше человеческого разума, все наизнанку вывернуло, сделав из мистики политику, из зова - убийство, а из смерти ребёнка

- повод для ненависти на годы вперед.

Я смотрел из возка, как тянется за окном белая, бесконечная земля, и думал: если это правда, то всё, что произошло после, тоже не может быть случайностью. И тогда не просто восьмилетний мальчик умер. И теперь не просто вор идёт под его именем.

Смерть царевича была тем узлом, в котором завязалась вся будущая история Руси. И затянули этот не Годунов, не Нагие, не случайный нож. Его затянула сама судьба. Или тот, кто за ней стоит.

И я, человек из будущего, который привык думать, что всё можно отменить и пересчитать, впервые понял: есть вещи, которые отменять нельзя. Не потому, что они сильнее, а потому, что они – ось, которая все держит.

В Москву я вернулся к вечеру, серый от дороги и от того, что нёс в себе. Семён ждал меня в приказе. Он стоял один у той же свечи, в той же позе. Казалось, он никуда и не уходил с тех пор, как мы виделись с ним здесь в последний раз.

- Ну? - спросил он нетерпеливо, едва я вошёл. – Что скажешь? Жив царевич?

- Нет, - я опустил голову вниз. - Он умер. Настоящий. Тогда, в Угличе.

- От чего?

Я помедлил с ответом. Соврать было легко, а сказать правду – страшно, потому что эта правда не укладывалась в приказные листы и не решала задачу государя. Но врать я не

стал.

- Его позвали. И на нож он упал не сам и не от падучей. Его поманила рука, которую он знал. Белая рука в перстне, из-за ограды. И он шагнул к ней. А после... Потом вы и сами знаете, все что было.

Семён смотрел на меня, не моргая.

- Ты хочешь сказать, что мальчика убил призрак?

- Нет, я хочу сказать, что его позвал отец. И что эта правда не для бумаг. Ни государю, ни нам она ничем не поможет. Но она - единственная, какая есть.

Семён долго молчал, глядя куда-то сквозь меня. Я видел, как в нем борются дьяк и человек. Наконец он отвернулся к окну.

- Садись, - сказал он вполголоса. – В бумаги тогда запишем другое. Что царевич умер в Угличе, и что под Кромами ходит вор, а не спасённый сын. Так спокойнее всем будет. А правду твою... правду твою при себе оставь. Потому что если она выйдет наружу, то сожжёт всех: и Годуновых, и Шуйских, но тебя первого.

Я покорно кивнул. Выходя, я в последний раз обернулся на него: он сидел, обхватив голову руками. В этой позе не было уже ни дьяка, ни следователя. Был только человек, который узнал то, что в глубине души очень не хотел бы знать.

А я шагал по тёмной Москве к дому, где ждала меня Аня, и думал о том, что отныне я несу в себе две правды. И не знал, какая из них тяжелее.

Дом встретил меня тишиной. Лишь в каморке, где мы жили, слабо горел огонёк. Анютка не спала. Она сидела на лавке и перебирала какие-то бумаги: свои, приказные, по привычке, которая никуда не делась и в замужестве. Увидев меня, она отложила листы, поднялась и молча обняла, не спрашивая ни о чём.

- Ты белый, как снег, - сказала она, отстранившись и вглядываясь мне в лицо. - Что там было, в Угличе?

Я сел, стянул сапоги, долго смотрел на свои руки, потом заговорил. Рассказал всё: и про архив, и про умерших свидетелей и безумного звонаря, и про руку в перстне и про мальчика, который засмеялся и шагнул. И про то, как все перевернулось у меня от этой правды: все, что я знал о времени и о себе.

Анюта слушала не перебивая, лишь крепче сжимала мои пальцы. Когда я дошёл до Ивана Грозного, до его зова из-за ограды, она тихо перекрестилась и тяжело вздохнула, но ничего не сказала.

- И вот я сижу, и не знаю, что с этим делать. Государь ждёт бумагу, которая поставит точку. Семён уже решил, что запишет в неё другое: будто царевич умер, а под Кромами вор. А я теперь знаю, что настоящий Дмитрий умер не просто так.

Я замолчал. В печи догорали поленья, по стенам каморки ходили мягкие тени.

- Я всегда думал, что историю можно пересчитать, - сказал я тихо. - Что если знать вперёд, то можно все изменить.

А теперь вижу: есть вещи, которые переменить нельзя, потому что на них всё и держится. И от этого я не знаю, что делать дальше. Воевать с судьбой - глупо. А не воевать - значит просто сидеть и смотреть, как всё катится под гору.

Анна ещё немного помолчала, будто раздумывая, стоит ли говорить. Потом повернулась ко мне. Лицо у неё было спокойное, строгое, не бабье - то, какое бывает у человека, который считает быстрее иных дьяков.

- Ты у меня совета спрашиваешь, - проговорила она. - А уже и сам всё понял, только признаться боишься. Ты узнал не то, как всё было, а то что не твоя это правда. Она выше тебя, выше отца, выше государя. Её нельзя ни записать, ни выжечь. Она как мороз за окном, который ты не отменишь, но и стоять под ним не обязан.

Она взяла в ладони моё лицо, и я почувствовал, какие они горячие.

- Делать тебе дальше надо не с этой правдой, а с той, что ближе. Самозванец под Кромами - не настоящий сын. Значит, он не святой, а человек. И человек этот кончится, как и все. Государь от него не спасётся, ты сам говорил, что ему недолго осталось. Значит, не лови вора и не спасай государя. Спасай тех, кто тебе дан: меня, дядю, род. А что до мальчика в Угличе - отпусти его. Ты не Бог, чтобы его судьбу на себе нести. Ты муж, и дом твой не в Угличе, а здесь.

Я долго смотрел на неё, и во мне медленно, как вода в оттепель, отступало то тяжёлое, что я привёз из Углича. Она

была права. Я не мог переменить судьбу царевича. Но я мог перестать рвать себе жилы о том, что выше меня, и жить той жизнью, какая у меня есть: здесь, с ней, в этом доме, на этой земле, что сжималась вокруг нас, как кольцо.

- Ты мудрее меня.

- Нет. - Она улыбнулась одними губами, и в глазах у неё блеснуло то, за что я ее так любил. - Просто я не читала столько книг и не знала столько дат. Поэтому мне проще видеть, где кончается чужое и начинается твоё.

Я притянул её к себе, мы долго сидели обнявшись, не говоря ни слова, глядя, как догорает свеча. За окном шумел ветер, где-то далеко, над Москвой, плыл колокольный звон. Не угличский, набатный, а ровный, мирный, подающий надежду, что меня, наконец, оставили в покое.

Дядя пришёл ко мне сам, чего давно не делал. Значит, новость стоила того, чтобы подняться по скрипучей лестнице в мою каморку, не доверяя её даже собственным стенам. Он сел на лавку, положил шапку на колени и долго молчал, разглядывая огонь в печи. Я ждал. За окном шёл мокрый мартовский снег, и по стеклу ползли кривые струи, будто зима плакала, не желая уходить.

- Ты Углич свой видел, - начал дядя глухо. - Теперь послушай, что в Москве делается. Вчера на Постельном крыльце один мой человек слышал, как двое жильцов шептались: государь-де совсем плох. Ноги у него отнимаются, не ходит. Спальники его носят на руках, и то редко - больше лежит.

Он поднял на меня глаза, в которых не было злорадства и страха, а было то особенное, шуйское, что я выучил за эти месяцы: холодный, трезвый расчёт, который умеет ждать.

- Люди говорят, ему недолго, - продолжал дядя. - Бояре уже меж собой шепчутся, кому на престол садиться. Романовы голову подняли, хоть и в опале. Нагие из Углича голос подали. А вор под Кромами сидит, как клещ, и ждёт того же, чего и мы.

Я молчал. Я знал дату. Знал, что Борис Фёдорович умрёт в апреле, и не от ног, а от сердца, от многолетнего страха, что съел его изнутри. Знал и то, что смерть эта ничего не кончит, а только развяжет всем руки, и вор войдёт в Москву по дороге, вымощенной не золотом, а слухами. Но сказать этого дяде я не мог.

- Ты что молчишь? - спросил дядя. - Думаешь, я пришёл тебе новость сказывать? Нет. Я пришёл спросить: что нам теперь делать?

- Ничего. Сидеть и не высовываться. Ты сам меня этому учил.

- Учил. - Он усмехнулся. - Только теперь другое время. Когда умирает царь, сидеть - это тоже шаг. И шаг опасный. Если Годунов умрёт и сядет вор, нам, Шуйским, не отсидеться: мы за Бориса воевали, мы с его воеводами стояли. Вор нас первых на плаху сведёт, как до Москвы дойдёт.

- А если не дойдёт? - Я смотрел на него, проверяя, как он поведётся.

- Дойдёт. - Дядя не отвёл глаз. - Борис ему не помеха, он уже и жив-то наполовину. А как помрёт, то и вовсе: войско разбежится, города откроются. Ты не хуже меня знаешь.

Он понизил голос, хотя в доме все спали.

- Поэтому я и говорю: готовься. Не жди, пока Годунов на ладан задышит. Думай, с кем будешь, когда всё рухнет. С ворм, с Романовыми или со мной.

Я встал, подошёл к окну, тронул мокрое стекло. За ним, в темноте, угадывалась Москва - огромная, сытая, пока ещё спокойная, как человек, не знающий, что у него в груди уже завёлся червь.

- Ты прав, что Борису недолго, - сказал я, не оборачиваясь. - Но вор на престол не сядет. Или сядет, да ненадолго. Народ его примет, а бояре не примут. Он чужой всем: и полякам, и русским, и себе самому. Такие не задерживаются.

- Значит, после него дорога моя, - сказал дядя тихо.

В голосе его впервые прозвучал не расчёт, а та самая жажда, которую он годами прятал под осторожностью.

- Возможно. - Я повернулся к нему. - Только дорога эта лежит через кровь. Через клятву, которую ты дашь вору, а потом нарушишь. Через заговор, в котором тебя сожгут, если что-то сорвётся. Ты к этому готов?

Дядя долго смотрел на меня, и я видел, как в его глазах борются страх и голод. Голод победил.

- Я всю жизнь готовился, - сказал он. - А ты, племянник, готовься к тому, что тебе придётся выбирать не между мной

и Годуновым, а между мной и той бабой, что ждёт тебя внизу. Потому что скоро всё это завертится так, что и она, и ты, и я - все будем на одних весах.

Он поднялся, надел шапку, шагнул к двери. У порога обернулся.

- Слух о болезни Бориса - это колокол. Он звонит по нему, а не по нам. Но когда он отзвонит, начнётся другое. Смотри, чтобы тебя не застали спящим.

Дядя вышел из каморки, я зачем-то пересел на лавку, где только что сидел он, и уставился в печь. Снег за окном сменился дождём, капли застучали по отливу часто, неровно, будто сама Москва отбивала чей-то торопливый пульс. Борис умирал. Я знал это точнее любого лекаря, точнее спальников, что носили его на руках. И знал, что умирает не просто человек, а целое время - то, в котором я худо-бедно научился жить.

Скоро всё начнёт меняться, и менять это буду не я один. Дядя уже встал в очередь за престолом. Вор ждал у южных ворот. А я сидел между ними, в доме, где внизу спала моя жена, и думал, что совет Анны был верен: не воюй с судьбой, встречай достойно то, чего не переменишь.

Судьба, похоже, решила больше не ждать...

Глава 3

Смерть к Годунову пришла не в келье и не на поле боя, а на вышке, с которой он любил смотреть на Москву. Про это мне потом пересказывали в деталях, разными голосами.

Целая картина медленно собиралась из осколков.

Тринадцатого апреля, поутру, государь отстоял службу, а после обеда велел не беспокоить его и поднялся на верхний ярус терема. В тот день он трапезничал с давно уже забытым удовольствием, не как больной: ел щи с курицей, пирог с вязигой и мёд. За столом даже шутил и старался казаться веселым. Стольники потом удивлялись, почему вдруг к царю вернулся аппетит. Они шептались меж собой, что причина в затишье под Кромами. Я же, когда услышал об этом, вспомнил, как умирающие иногда едят жадно, будто тело в последний раз требует своё.

На вышке Борис простоял долго. Вся Москва расстилась перед ним как на ладони: золотые главы храмов, чёрные от весенней сырости кровли домов, река, что уже тронулась и несла по серой воде обломки льда. Что видел там царь, о том никому не ведомо. Говорили, что стоял, держась за перила, и смотрел вдаль, будто прощался.

Оттуда он начал сходить сам, но вдруг на нижней площадке остановился, схватился за сердце и побледнел. Шедший за ним следом спальник рассказывал так: государь покачнувшись, взялся за перила и сказал тихо: «Дурно мне что-то». Его подхватили, повели в покои, но идти он уже не мог: ноги его подламывались, двое тащили его, как куль с зерном.

Послали тут же за лекарями. Скакали в Немецкую слободу, за иноземным дохтуром, что ещё царицу пользовал. Да пока к нему добрались, уж вышло поздно.

В спальне царю стало хуже. Его положили на кровать, сняли кафтан. Из носа у него пошла густая темная кровь, потом полилась и из ушей. Спальники метались с тазами и полотенцами, а кровь всё текла и текла. Лицо его сделалось белым, как воск, по которому расплывались красные разводы. Он лежал и смотрел в потолок, губы его шевелились, будто он хотел что-то сказать, но не мог.

Еще раньше, чем за лекарями, послали за патриархом и епископом. Так Борис сам повелел, едва беду почуял. Они успели. Первым в покои вошел патриарх Иов с посохом. Согнувшись пополам, он остановился в дверях. Епископ позади него держал в руках сосуд с елеем и крест.

Борис узнал их, повернул голову.

- Владыка, - выговорил он. Голос у него был уже не тот, что в Думе: тихий, со свистом, будто воздух выходил из прохудившегося меха. _ постриг принять хочу. Иноком. По чину.

Патриарх подошёл, перекрестил его. Спрашивать, в своём ли уме, было не нужно: в глазах государя стояла такая ясность, какой, как говорили, давно у него не видели.

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - начал патриарх. Голос его дрожал, потому что постригал он не просто царя, а человека, с которым прошёл через всё: через голод, через смуту, через ненависть боярскую.

Государь лежал и повторял за ним слабыми губами, отрекаясь от мира, от имени, от престола. Он просил наречь его Боголепом, и его воля была исполнена. Говорили потом, что

в самый тот миг кровь будто остановилась на мгновение, лицо его прояснилось, и он выговорил твёрдо: «Боголеп».

Однако было это недолго. Как только обряд кончили, кровь пошла снова, уже не сдерживаясь. Государь закрыл глаза и больше не открывал.

Лекарь прибыл, когда всё уже было кончено. Он постоял у постели, пощупал руку, вздохнул и сказал, что здесь ему делать нечего. Причиной смерти стал удар: кровь хлынула в голову и прорвала жилы.

Я узнал обо всём уже к вечеру. Стоял у ворот, а мимо меня бежали разносившие вести люди. Лица у них были не скорбные, а растерянные, как у овец, когда у стада пропадает вожак.

Колокола молчали, так как указа, кому и как звонить, пока не было. Смерть царя в гнетущей этой тишине казалась не событием, а дырой, в которую разом потянуло сквозняком.

Я пошёл к дому, чтобы сообщить дяде новость. Но по его виду понял, что он и сам уже знает. Он стоял во дворе, без шапки, глядел на закат, на красное небо над Кремлём.

- Помер? - спросил я.

Дядя молча кивнул головой, не оборачиваясь. Потом добавил:

- Постригли. Иноком Боголепом называли. Всё по чину. Вот и кончился Борис. А с ним, чую, и наше время кончилось. Другое теперь начинается.

Я стоял рядом, не решаясь сказать еще что-то. Да и не

знал, о чем и как говорить. Закат догорал, а с ним вместе догорали и мои планы. В груди было пусто, лишь где-то в самой глубине шевелилась мысль, которую я боялся озвучить: теперь всё пойдёт быстро. Начнётся теперь то, ради чего меня, может быть, и занесло меня в эту жизнь.

Сон не шел всю ночь. Я лежал с открытыми глазами, слушал, как по Москве, уже без колоколов, но с тем особенным гулом, какой бывает, когда город не спит от тревоги, ходит весть о кончине государя. Аннушка спала рядом, уткнувшись мне в плечо, а я смотрел в тёмный потолок и гонял по кругу один и тот же вопрос: от чего он умер?

Я перебирал разные версии, как чётки, и ни одна не давала покоя.

Первая, казалось, была самая очевидная, - яд. Смерть Бориса получилась быстрой и внезапной: плотный обед, кровь из носа и ушей, удар. На отравление очень похоже. Я знал, что слухи об этом поползут обязательно. И не просто слухи - у них будет имя. Начнут говорить, что вор, что стоит под Кромами, сумел передать яд в столицу, подкупил кого-то из ближних, и царя убрали, чтобы открыть ему дорогу. Это было удобно всем: боярам - чтобы оправдать измену, черни - чтобы объяснить смерть того, кого они уже почти ненавидели, самозванцу - чтобы обрести жуткой силой.

Но чем больше я думал, тем меньше верил в яд. Здесь все было слишком просто: под Кромами сидел не тот, кто мог дотянуться до царской трапезы. Своих людей в Кремле у

него не было, а, самое главное, не было денег на такое. Ведь паутину нужно было плести годами, а не месяцами.

И этот человек отравителем не был. А был тем, кто сам не понимал, кто он такой: в нём то говорил настоящий царевич, то чужой, сорвавшийся перенос. Яда такой человек слать не будет. Он ждёт чуда и чужих измен. И потом: яд от вора - это был бы расчёт, которого в смерти Бориса не было.

Вторую версию - о самоубийстве - я отбросил еще быстрее. Те, кто решается на добровольный уход, перед смертью не постригаются. Да и за патриархом не посылают.

До последнего вздоха Борис цеплялся за жизнь. Уйти он хотел не как царь, а как инок, чтобы обмануть судьбу, сбросить с себя престол, словно тяжёлую шубу, в которой нечем дышать.

Оставалась третья правда: простая и оттого самая горькая. Он умер сам. От болезни, которая копилась в нём годами. От страха, что съел его изнутри. От многолетнего напряжения. От бессонных ночей, когда он слушал, как шепчутся за стенами бояре, замышляя что-то недоброе.

Ноги у него отнимались уже не первый день. Я слышал об этом раньше, чем пришла весть. А такие удары, когда кровь разом бросается в голову и рвёт жилы, случаются с людьми, которые носят в себе то, что нельзя никак высказать, слишком долго.

Борис умер не от яда и не от своей руки. Он умер от того, что сам себя загнал. От собственной власти, которая оказа-

лась не в силах вытащить.

Однако в этом выводе был еще один слой, самый тёмный, к которому прикоснуться я долго не решался.

Я знал дату его смерти. Еще с тех пор, как впервые понял, где я оказался и в какое время попал. Знал, что царь умрёт в апреле, после пасхальной недели, трон останется пустым, а страна разорванной.

И я не предупредил об этом. Ни его самого, ни Семёна, никого из высших чинов. Знание я берег, как скупой бережёт клад, молчал, потому что так было выгодно Шуйским. Потому что смерть Годунова открывала дорогу нашему роду.

Выходило так, что я, человек из будущего, стал частью того самого механизма, который привёл его к вышке, а с вышки - в кровавую постель...

Теперь же, глядя в потолок, я задавал себе страшный вопрос: а не я ли стал его убийцей? Нет, я не убивал ни ножом, ни ядом. Но молчанием. Ведь если знание - это власть, то незнание того, что мог бы предотвратить, - это уже не просто незнание. Это соучастие.

И тогда мне пришла последняя мысль, от которой стало холодно под тёплой шубой: я все равно не мог бы его спасти. Даже если бы предупредил, кто бы мне поверил?

А даже если бы и поверили, так болезнь уже сидела в нём, как тлеющий уголь. Яд и нож здесь были ни при чём. Убило его не чужое зло, а собственное сердце, которое груза не выдержало. Я же всего лишь стоял рядом и знал, когда именно

Оно остановится.

Значит, вывод был не про яд и не про самоубийство. Он был про меня.

Борис умер своей смертью - от удара, от страха, от того, что даже победа под Добрыничами не избавила его от призрака. А я умер бы вместе с ним, если бы позволил себе и дальше делать вид, что моё знание - это нечто чистое.

За окном начинало сереть. Анютка пошевелилась во сне, вздохнула, прижалась ближе ко мне. Я лежал и впервые за всё это время понял, что не смогу ответить на вопрос, кто я такой. Ни себе, ни ей, ни тому, кто, может быть, и послал меня сюда ради этого самого часа.

Утром ударили колокола. Медленно, по-похоронному, будто каждый удар давался с трудом. Я вышел во двор и увидел, что Москва стоит как оцепеневшая: люди высыпали из домов, крестились, смотрели на маковки Кремля. На их лицах было не горе, а то чувство, какое бывает у толпы перед тем, как она поймёт, что нет больше повода.

Хоронили Бориса через два дня. Не так, как хоронят государей, а спешно, тихо, будто стесняясь покойника. Патриарх отслужил панихиду. Его надтреснутый голос долго висел над толпой, а люди слушали и не плакали.

Я стоял в толпе, далеко от гроба, смотрел, как проносят тело инок Боголепа: не царя, а монаха, которого нарекли в последний час, будто хотели обмануть и Бога, и судьбу. И думал: вот человек, что хотел удержать страну в кулаке, а

умер, держась за чётки. Ирония, от которой не легче ни ему, ни нам.

После похорон всё пошло вразнос, я это чувствовал кожей, как чувствуют перемену ветра перед грозой. На престол возвели сына Борисова, Фёдора - юношу, которого никто не боялся и не уважал. Ему присягнули, но сквозь зубы: крест бояре целовали, а глаза отводили. С присяги дядя вернулся мрачный и долго мыл руки, словно они у него вдруг стали липкими.

- Присягнули, — сказал он, вытирая ладони о полотенце. — Только ненадолго это. Мальчишка на троне — это не царь. Вор под Кромами уже, поди, узнал, что Борис помер. Теперь он голову поднимет.

Оттуда и правда пошли вести одна страшнее другой. Войско, что стояло под Кромами и должно было держать вора, вдруг заколебалось. Ропот пошел сначала среди казаков, потом среди боярских детей, которые не получили жалованья. Потом уж, как оно всегда бывает, довольно было одного крика, чтобы всё рухнуло.

Я сидел у дяди, когда прискакал гонец, грязный, с белым от пыли лицом, и прямо с порога выдохнул:

- Войско под Кромами присягнуло тому, кто зовёт себя Димитрием. Воеводы повязаны. Полки идут на Москву.

Дядя даже не шелохнулся. Лишь его лежавшие на столе пальцы медленно сжались в кулак.

- Вот и всё, - сказал он тихо. - Дождались.

В ту ночь я долго не ложился. Ходил по горнице, останавливался у окна, прислушивался. Анята тоже не спала - сидела у свечи, сложив руки на коленях, и молчала, понимая, что слова сейчас не нужны.

- Что будет с нами? - спросила она наконец, не поднимая глаз.

Я подошёл, сел рядом, сжал в своих руках её холодные руки, пытаюсь согреть.

- Думаю, дядя уже всё решил. Он выждет, а когда вор войдет в Москву, присягнет ему. Сам же будет ждать часа, зная, что вор не усидит. Чужой он всем, и бояре его не потерпят. Рано или поздно, но скорее рано, его уберут. Тогда дорога Шуйским откроется.

- А как же ты? Ты сам-то чего хочешь? Не дядя, не род. Ты.

Я помолчал, не торопясь отвечать на столь непростой вопрос. Об этом я думал давно, но давно не находил ответа.

- Я хочу, чтобы ты была в безопасности, - сказал я. - И чтобы всё это кончилось, не задев наш дом.

- Но ты же сам знаешь, что так не бывает, - сказала она спокойно, как о решённом. - Дом на такой земле не устоит. И я не спрячусь, пока ты в самой середине будешь...

После она добавила тише:

- Хорошо, только обещай мне одно. Когда настанет час выбирать между родом и мной - не лги себе, что это можно совместить. Выбирай честно. Остальное я приму.

Я еще крепче сжал её пальцы и кивнул, хотя не знал, смогу ли сдержать слово. В горле стоял ком, больше я не стал ничего говорить, потому что боялся, что голос сорвется.

За окном, над спящей Москвой, занимался тот самый рассвет, который я так боялся увидеть: первый день после царя, первый день, когда никто больше не держал этот город на цепи. А я, человек из будущего, стоял в этом рассвете и не знал, что принесёт он вору, Шуйским, Анне и мне самому.

Знал, пожалуй, лишь одно: прежней жизни больше не будет. Ни для Москвы, ни для меня.

В сроках я не ошибся. Через две недели после смерти Бориса в Москву приехали посланцы от вора - двое дворян, которых под Кромами войско отпустило с вестью, что признаёт истинного государя. Их не тронули. На Лобном месте, при народе, они читали грамоту. В ней тот, кто звал себя Димитрием, обещал всем милость, а боярам - правду. Народ слушал молча, но в этой тишине уже не было ни страха, ни верности. Было ожидание.

Фёдора Борисовича с матерью и сестрой держали в Кремле, как держат заложников в собственном доме. Присяга ему таяла на глазах, как апрельский снег. Бояре, что ещё вчера целовали ему крест, теперь переглядывались и писали тайные грамоты в стан вора. Дядя сказал мне об этом прямо, без обычного своего ёрничанья:

- Крест Фёдору целовали, да не присох. Теперь всяк пишет вору, будто и не присягал. Смотри, племянник, как это

делается: сперва письма, потом голос, потом бунт. Так и престолы валяются.

Я слушал и понимал, что он прав. Всё шло по учебнику, который я знал наизусть, и от этого знания было не легче, а страшнее: я видел не просто смуту, а её механику, каждый винтик, каждую предательскую пружину.

Через три дня после присяги Фёдора Василия вызвали на площадь – говорить к народу. Слух о том, что вор под Кромами ожил и войско переходит на его сторону, полз по Москве, как дым, и властям нужно было заткнуть эту щель хоть чем-то. А чем затыкают щели в такой час? Только чужой уверенностью. И дядя был тем, кто умел давать её другим.

Он поднялся на Лобное место в парадном кафтане, без шапки, несмотря на холодный апрельский ветер, что нёс с реки сырость. Толпа затихла. В этой тишине голос его прозвучал ясно, как удар колокола.

- Я, князь Василий Иванович Шуйский, - начал он, - сам стоял у гроба царевича Димитрия в Угличе. Сам видел тело его. Сам, своими руками, клал его в землю. И клянусь вам перед Богом и крестом: тот, кто идёт на Москву под именем Димитрия, - не царевич. Царевич мёртв, я его хоронил.

Он поднял крест, и толпа, как один человек, перекрестилась. Я стоял в задних рядах, чувствуя, как земля под ногами будто поплыла. Вот она, та самая ложь, которую он выговаривал так твёрдо, что даже я на миг засомневался: а не было ли на самом деле так, как он говорит? Может, я ошибся?

Может, то, что я понял в Угличе, - не правда, а морок?

Но нет. Я знал. Знал то, чего не знала толпа и чего, может быть, до конца не знал сам дядя: в Угличе убили не попова сына и не чужого мальчика, а тело, в которое до того пытались вселить пришлого. Первую, неудачную попытку. И теперь по земле ходит то самое тело, живое, с провалами в памяти, не понимающее, кто оно. А дядя клянётся, что хоронил его. И с формальной, самой жуткой правдой, он не лжёт: он хоронил. Только вот мёртв был не тот, кого он клятвой прикрыл.

Эта мысль ударила меня под дых, я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Я стоял в толпе, среди крестившихся и плакавших людей, не имея сил вымолвить ни слова, потому что любое слово правды сейчас стоило бы дяде головы. А заодно - мне и Анне.

И это молчание было тем же, чем была дядина клятва: соучастием. Только моё соучастие было без слов, а его - с крестом в поднятой руке.

Он сошёл с Лобного места, и толпа расступилась перед ним с тем почтением, какое бывает у людей, которым только что дали твёрдую почву под ногами. А я смотрел ему в спину и думал: вот человек, который сейчас, при всех, поклялся в том, во что сам не верит. И ведь не дрогнул. Ни голос, ни рука с крестом. Откуда в нём это? От страха? От расчёта? Или от того, что он давно уже не различает, где правда, а где то, что нужно сказать, чтобы выжить?

Вечером я не выдержал.

- Ты клялся, - сказал я, когда мы остались вдвоём. - При всём народе, на кресте. Но ты же знаешь, что это не так.

Дядя поднял на меня глаза, и в них не было ни злости, ни стыда - только усталость человека, которому надоело объяснять очевидное.

- Знаю, - сказал он. - А ты знаешь, что было бы, не поклялись я? Войско уже шатается. Народ слушает вора. Нужно было сказать то, что удержит их. Так я и сказал.

- Это грех, - выговорил я, хотя сам не знал, зачем говорю это ему.

- Грех, - согласился он спокойно. - Только вот что я тебе скажу, племянник. Когда земля горит под ногами, грехи взвешивают не на обычных весах, а на весах выживания. Я поклялся, чтобы этот мальчишка на троне продержался хоть до лета. А там видно будет.

Он помолчал, глядя в окно, за которым густели сумерки.

- Или ты думаешь, я один такой? - спросил он тихо. - Все клялись. Бояре целовали крест Фёдору, а сами письма вору пишут. Патриарх предаёт анафеме вора, а народ уже молится о его здравии. Вся Москва - одна сплошная клятва, но ни одна не стоит и ломаного гроша. А ты пришёл ко мне про грех молвить.

Возразить мне было нечего. Всё, что дядя говорил, было правдой, но от нее было гадко, как от кислого вина. В одном он все же ошибался: клятвы, которые ничего не стоят, одна-

жды перестают держать и того, кто их приносит. Выпущенная на площадь ложь, обратно к хозяину возвращается - не сразу, но всегда.

Глава 4

Конец апреля и весь май я прожил как человек, который стоит по колено в быстрой воде и ощущает, как течение становится все быстрее. Казалось, что события не шли, а неслись, словно горная река. В этой воде дядя не был пловцом, он был кормчим, который не гребёт против течения, а старается править так, чтобы лодка не разбилась о камни.

Через людей он распускал слухи о спасении царевича. Холопы, что ходили по торгам, будто бы случайно заводили разговоры на нужную тему. Торговцы с Пожарища словно невзначай роняли: «Говорят, в Угличе не того зарезали». Возвращавшиеся из дальних моанстырей богомольцы шепотом рассказывали, что на юге видели своими глазами огни. И добавляли: «Жив царевич, к Москве идет». Хозяина такой слух не имеет: зарождается он в темноте, а потом сам же выползает на свет. И понять, откуда он взялся, невозможно.

Дядя с задумчивым лицом сидел у себя в комнате и слушал, что ему доносили. Я понимал по тому, как он многозначительно кивал, что это ему на руку.

Власть Федора Борисовича таяла на глазах. Приказы его исполнять воеводы отказывались. Они посылали уклончивые отписки, а войско под Кромами, по слухам, уже не столько воевало, сколько пыталось угадать, куда же подует ветер.

И, самое плохое для Федора, что дул не от Москвы.

Как-то теплым вечером, в конце мая, дядя позвал меня к себе. На его столе лежала раскрытая грамота, которую он не стесняясь прикрыл ладонью, когда я вошел.

- Вот что, племянничек, слова мои менять пора, - произнес он сказал негромко. - Те, что с Лобного места я народу глаголил, более не годятся. Ума много не надо, чтоб понять, что не усидит Федор на троне. А ежели мы за него до конца держаться будем, то вор, как в Москву войдет, все припомнит. А особо то, кто клялся, что хоронил его. Ну и, сам понимаешь, первыми он вешать станет, таких, как я.

Шуйский поднял на меня свой тяжелый взгляд.

- Значит, нам успеть первее надо. От Федора мы должны не просто отречься, а с правдой навстречу выйти. Вернее, с тем, что сам слышать хочет. Вот тут в моем плане и для тебя, племянник, место есть.

- Какое? — спросил я, хотя уже и сам отчасти догадывался.

- Ты в Угличе был. И видел все своими глазами. Правду тамошнюю ты лучше меня знаешь. В своё время я на следствии одно говорил, в этот раз же другое молвлю. Мне нужно, чтобы ты подсказал, где солгать можно, а где лучше только другим боком правду ту повернуть. Ведь ежели во лжи кусок правды есть, то она дольше держится.

Я смотрел на дядю и никак не мог взять в толк, чего больше во мне - восхищения его холодным умом или страха пе-

ред тем, как этот ум на ходу легко обувь меняет.

- И чего ж ты скажешь?

- А то и скажу, что от меня ожидают, - ответил он. - Скажу, что не царевича тогда в Угличе убили, а сына поповского. Что я своими глазами видел подмену, да язык за зубами держал, поелику Борис молчать велел. А иначе – голову с плеч долой. Скажу, что человек, к Москве подбирающийся, - истинный сын Грозного и есть, а я, старый дурак, слеп был, а теперь только прозрел.

Он помолчал и добавил с усмешкой, от которой меня обдало холодом:

- Вишь, складно-то получается. И ведь почти всё - правда. Окромя одной малости: царевича в Угличе не убили. Но и не подменили. А вот про то, что на самом деле с ним случилось, - это уж лучше меня ты знаешь, да никому не скажешь...

На это мне сказать было нечего. Он был прав.

Первого июня Шуйский вышел к народу. На площади его встречала уже не та толпа, что месяц с небольшим назад. Тогда её нужно было успокаивать, теперь же – подогревать. Это дядя делать умел.

Стоял он опять на Лобном месте, без шапки, и ветер с реки трепал его седые волосы. Он говорил, и его голос разносился над головами. Люди слушали молча, в звенящей тишине.

- Каюсь вам, православные! - выкрикнул Шуйский. В этом «каюсь» было столько смирения, что я не узнал человека,

который клялся в обратном еще совсем недавно. - Оболгали мы государя нашего, Дмитрия Ивановича! Не мертв он, как я же раньше сказывал! Царевич жив, а вместо него в Угличе убили попова сына. Истинный царевич, Богом хранимый, к Москве идет – на отцов престол взойти.

Толпа вдруг разом ахнула, колыхнулась, по ней прокатился гул, в котором какой-то животный ужас мешался с детским восторгом. Кто-то выкрикнул: «Жив царевич!», кто-то заплакал, кто-то бросил шапку оземь. Бабы, закутанные в платки, молча быстро крестились.

Я же стоял в толпе и чувствовал, как опять мне давит рёбра чужая радость. Да только теперь это была радость не за спасённого государя, а про то, что ложь окончательно поменяла хозяина.

- И вот вам мой сказ! - продолжал дядя уже смелее, возвышая голос. - Я сам, князь Василий Шуйский, навстречу государю еду! Хочу ему первым в ноги упасть и повиниться в прежней слепоте! А вы ждите его, православные, как ждете Пасху, ибо идет к нам истинный сын Иоанна Васильевича, коего Господь уподобился от ножа и от Борисова злодейства сберечь!

Дядя сошёл с помоста, толпа бросилась к нему, стала целовать полы его кафтана и крестить вслед. Я с места не сдвинулся. Лишь стоял и смотрел, как человек, что давеча только клялся, будто хоронил царевича, теперь под вопли народа от своих же собственных слов отрекается. Кажется, я начинал

понимать цену власти. Ту, что не измерить ни золотом, ни землями.

Цена эта есть в праве переписывать заново вчерашний день, при всех, под крестом, да при этом живым оставаться.

В тот же день в Кремле поднялась суета. Я узнал о ней от дядина человека, что прибежал затемно, запыхавшийся, без шапки, и с порога выдохнул:

- Годуновых берут. Фёдора с матерью и сестрой. Государь наш... - он осёкся, сообразив, что «государем» звать Фёдора уже опасно, и поправился: - Юного царя ихнего сводят с престола.

Дядя выслушал спокойно, пожевал губами и спросил только:

- Сами? Или воинством?

- Сами, - ответил человек. - Тихим обычаем. Без крови. Пришли, как водится, с крестом, велели сойти. Он и сошёл. Мать только голосила, а он - ни слезинки.

Я слушал и не мог отделаться от мысли, что все это происходит до обидного обыденно. Царя не стаскивали с трона под крики и звон, не выволакивали на площадь. Его просто попросили сойти, а он взял и сошёл, будто и не было на нём шапки Мономаха, будто престол под ним всё это время был не престолом, а стулом, который в любой миг можно отставить к стене.

Так оно и было. Фёдор Борисович сидел на троне как человек, которого посадили туда на время, пока не приедет на-

стоящий хозяин. И теперь, когда хозяин приблизился к воротам, всё, что держало юношу наверху, - присяга, караулы, боярская совесть - осыпалось в один день, как труха из старого пня.

Стрельцы, что ещё недавно берегли Годуновых, теперь отводили глаза. Я сам видел это на следующее утро, когда пошёл к Кремлю посмотреть, что творится у теремов. Стрелецкие караулы ещё стояли, но стояли они как-то бочком, будто им самим было неловко за то, что они тут. На вопрос, можно ли пройти, стрелец не ответил - только зыркнул в сторону и отвернулся, и в этом отвернувшемся взгляде было больше правды, чем в любой присяге. Они уже не берегли. Они дожидались, пока им скажут, кого теперь сторожить, а кого - вывести вон.

Фёдора с матерью и сестрой перевели на старый двор, где прежде держали опальных Нагих. Говорили, что шли они пешком, под охраной, и царица-инокиня цеплялась за рукав сына, а он шёл ровно, глядя перед собой. И лицо у него было не испуганное, а равнодушное, как у человека, который разом понял, что все, чему его учили с детства - власть, престол, божья милость, - ничего не стоит.

Дядя в тот день сидел у себя, не выходил, и только к вечеру позвал меня.

- Вот и свергли, - сказал он, глядя в окно. - Тихо, племянник. Заметь - тихо. Без бунта, без набата. Это страшнее всего. Народ не встал за него, бояре не встали. Все ждали, ко-

гда он уйдёт, как ждут, когда из горницы вынесут покойника, чтобы не мешал жить.

Он помолчал и добавил, не оборачиваясь:

- А теперь гляди, что будет дальше. Это только начало. Свергнуть тихо - ещё не значит удержаться. Тот, кого выпустили без боя, уйдёт с боем. Только об этом пока не говорят вслух.

Я стоял за его спиной и молчал. В горле было сухо, и я не знал, что сказать, потому что он был прав. И потому что я знал то, чего не знал он: этого юношу, что сегодня сошёл с престола, скоро убьют. Тихо, как и свели. И ни один стрелец не отведёт глаз — им велют, и они сделают.

А потом пришла весть, от которой у меня, признаюсь, дрогнули руки: вор идёт к Москве не с войском, а с обозом, медленно, как паломник, останавливаясь в сёлах, принимая хлеб-соль. Город ждал его, как ждут праздника. Люди выходили на дорогу, несли образа, плакали от умиления, и никто не хотел помнить, что этот «спасённый царевич» ещё вчера стоял с поляками под Добрыничами.

Дядя в те дни почти не выходил из дому. Он сидел у себя, читал какие-то бумаги, и лицо его было не то чтобы испуганное, а сосредоточенное, как у человека, который пересчитывает в уме шаги до обрыва.

Третьего июня делегация выехала в Серпухов. Дядя ехал впереди, в тяжелом кафтане, с непокрытой головой, как и подобало винящемуся. За ним на небольшом расстоянии сле-

довали братья, а за ними уже дворяне. Были они из тех, что успели примкнуть к покаянию, пока оно не стало опасным. Взял дядя с собой и меня, велев держаться при нем и рта не открывать без его личного дозволения.

Перед выездом он сказал с заметной усталостью в голосе.
- Быть тебе у меня вместо памяти. Подскажешь, ежели что не так начну молвить. Или ежели вор меня на словах подловить вздумает. Я и запутаться могу, стар я уже. А ты то у нас все помнишь...

Он усмехнулся, хоть усмешка вышла невесёлой. Я же подумал: а ведь при всём своём расчёте он тоже боится. Едет навстречу человеку, которого сам же называл вором. И тот может одним лишь словом своим велеть отрубить ему голову. Что самое невероятное, едет с пустыми руками. Не везет ни денег, ни дорогих подарков, если не считать самой ценной валюты - лжи, выверенной так, чтобы совпадать с тем, что вор сам о себе думает.

Дорога на Серпухов пролежала через села, где нас уже ждали. Люди выходили к тракту, крестились, подносили хлеб-соль. Некоторые при одном имени Димитрия от умиления плакали. Глядя на них, я вдруг четко понял то, о чём раньше лишь смутно догадывался: уже не воевала страна за Годунова или против него. Она ждала чуда. Этим чудом вор и был. Я знал, что пустым, но людям довольно было самого ожидания, чтобы заполнить ту пустоту своей верой.

К вечеру въехали в Серпухов. В стане вора было шумно и

весело как на ярмарке в базарный день: горели костры, мелькали то тут, то там пёстрые одежды, у бочек с вином громко спорили о чем-то пьяные казаки, польские роты звякали оружием и переругивались на своем наречии. Над всем этим сборищем развевалось на ветру белое полотнище с крестом, будто здесь уже был не стан мятежника, а двор государя русского.

Шуйский спешился, одёрнул кафтан и решительным шагом затопал к шатру, не оглядываясь. Я семенил следом. Сердце у меня колотилось, не попадая в ритм шагов, так, что глухие удары отдавали в горло.

В шатёр нас впустили не сразу. Стоявшие у входа польские гайдуки в синих жупанах сдвинули перед нами алебарды. Они посмотрели поверх наших голов так, будто мы пришли не на поклон, а на расправу. Дядя стоял перед ними вытянувшись в струну, как на параде. Он ждал, но понять по лицу его, чего ему это стоило, было невозможно. Я старался держаться за его плечом и чувствовал, как у меня шумит в голове от выпитого по дороге вина, и сосет под ложечкой.

Потом полог откинулся, и вышел дворянин в русском платье, но с польским акцентом. Он, не глядя на нас, бросил:
- Государь велел впустить. Идите.

Мы вошли. Внутри было полутемно от множества свечей, что горели жёлтым, неровным светом, и пахло дымом и ещё чем-то сладковатым - не то ладаном, не то вином. Вор сидел не на троне, а на простом складном стуле, в распахнутом

кафтани, без шапки, и смотрел на нас через пламя свечи. От этого взгляд его казался глубоким, как колодец.

Я узнал его сразу. Не по лицу, которое изменилось, обросло, похудело, и в нем было меньше мальчишеского, чем я помнил. Узнал по руке. По белой руке, которая лежала на подлокотнике стула, без рукавицы, а на пальце горел перстень.

Дядя шагнул вперёд, и не успел я опомниться, как он уже стоял на коленях.

- Государь, - выговорил он, дрожащим голосом. Только дрожь эта была не от страха, а от того мастерства, с каким он умел заставить голос дрогнуть, — повинную голову прими. Грешен я пред тобой: лгал, что в Угличе своими руками клал тебя в землю. Прости, не тебя клал. Поповского сына. А истинного-то царевича Господь от ножа сберёг, и вот он я, старый пёс, пришёл виниться... Не вели казнить, вели мловать.

Он замолчал, опустив голову. Слышал я в этой тишине только собственное дыхание. Потом тот, кого называли Дмитрием, поднялся. Подошёл ближе. Остановился над дядей, и я увидел, как его белая рука легла на дядино плечо - легко, почти ласково. Так кладут руку на холку загнанной собаки, желая ее похвалить за верную службу.

- Встань с колен, князь, - сказал он негромко, с той особенной мягкостью, какая бывает у людей, долго ожидавших этого часа и желающих теперь спугнуть его гневом. – Негоже

Шуйским в ногах валяться. Да и не я тебе судья, а Бог. Я же - государь, и слуги мне нужны не мёртвые, а живые. Встань.

Дядя поднялся и вытер одной рукой катившуюся по щеке слезу. Настоящая или выдавленная она была – разобрать нельзя. А умел он и то, и это.

Потом взгляд «государя» скользнул на меня. И я почувствовал, как все внутри сжалось. Смотрел он не как царь на слугу, а как человек, который вдруг угадал что-то знакомое в чужом лице, но не может вспомнить, что именно.

- Кто это при тебе? - строго спросил он.

- Племянник мой, Иван, - ответил дядя, стараясь не выдать голосом своего волнения. – Он у меня болезненный, вот при доме держу. Решил с собой взять, чтоб и он милость твою видел.

- Болезненный, - повторил вор, и губы его тронула усмешка, от которой у меня пошёл мороз по коже. - А глаза у него не болезненные... Слишком много он видит для хворого.

Он сделал шаг ко мне, уставившись на меня немигающим взглядом. Я его выдержал, глаз не отвел. Мы стояли в полшаге друг от друга - человек, которого я знал по учебникам как Лжедмитрия, и человек, которого ни в одном учебнике не было.

В этот миг мне почудилось, что он тоже знает. Только не умом – такое умом познать нельзя - а тем звериным чутьём, какое бывает у людей, переживших перенос. Так в лесу зверь чует другого зверя той же породы.

- Ну да ничего, - сказал он наконец, отводя взгляд. - Пускай видит. А мне такие нужны. Кто много видит, тот много молчит, а такие, как ты, князь, - он повернулся к дяде, - и видеть, и молчать умеют. Верно ведь?

Дядя отвесил поклон ниже, чем следовало.

- Что велишь, государь, то и увижу. А чего не велишь - того и не было.

Он засмеялся - тот, на стуле. Засмеялся легко, по-мальчишески, и смех этот в душном шатре прозвучал так неожиданно, что даже гайдуки у входа переглянулись. Видно было, что ответ дядин ему понравился.

- Ну, князь, - сказал он, отсмеявшись, - за такое я тебя не казню. Такие, как ты, мне сейчас дороже золота. Потому что нынче вокруг меня все улыбаются, а верить нельзя никому. А ты хоть пришёл виниться - и то честнее, чем те, кто пришёл бы хвалить меня в глаза, а за спиной нож точить.

Он подошел к столику, налил из кувшина две чарки, одну подал дяде, другую поднял сам.

- За то выпьем, чтобы вина твоя, князь, последней оказалась. А дальше посмотрим, чем ты мне ее искупишь.

Дядя принял чарку, выпил, не поморщившись, и перекрестился. Я смотрел на них и не мог отделаться от мысли, что сейчас, в эту самую минуту, история делала очередной поворот не туда. Я же стоял в самой её середине, будучи не свидетелем, а участником, связанный с человеком напротив чем-то, чего ни он, ни я до конца понять не могли.

Потом «государь» махнул рукой, и нас вывели. В сенях дядя шёл молча, я видел, как напряжена его спина, будто он всё ещё стоял на коленях перед тем стулом в шатре. Только у коновязи, когда мы остались одни, он выдохнул сквозь зубы:

- Поверил... Или сделал вид. Главное теперь – не торопиться.

Он покосился на меня.

- А ты чего ему в глаза лез? Он на тебя как на диковину смотрел. Я уж думал, спросит, кто таков, и тогда - поминай как звали.

- Он не спросил. Чутьем собачьим почуял.

Дядя нахмурился, не понимая, о чем речь, но дальше расспрашивать не стал. Только сплюнул в пыль и полез на коня.

Глава 5

Первые отряды, присягнувшие вору, вступили в Москву в начале июня. Они вошли не с боем и не таясь, а среди бела дня, через те самые ворота, которые неделю назад от них запирали на засовы. Войско шло без штандартов, без строя, зато с той особенной наглостью, какая бывает не у победителей, а у людей, за которыми стоит вся земля.

Разношерстная толпа шла в распахнутых кафтанах, громко перекликалась, хохотала, их сытые кони с расчёсанными гривами, ступали по московской пыли, как по своей конюшне.

Я наблюдал за этим шествием с крыльца дядиного дома, но от такого зрелища у меня сводило скулы. Вот они, думал

я, те, что ещё под Кромами убегали от Бориса, а теперь идут по его городу хозяевами, и никто не смеет им сказать слова наперекор. Народ по обочинам стоял молча. Радости у него не было, равно как и злобы. Смотрели люди с тем звериным любопытством, с каким смотрят на чужое войско, не понимая еще, своё оно или вражеское.

К вечеру отряды растеклись по посадам, и сразу стало ясно, чем обернётся эта «милость». Казаки брали на торгу, что хотели, платили щелчком по носу, а то и вовсе не платили. Дети боярские, что пристали к вору, выискивали дворы тех, кто служил Годуновым, и уже прикидывали, что там можно будет взять, когда начнут делить добро. Москва, ещё вчера грозная и насупленная, к ночи притихла, как притихает дом, в который вошли чужие люди и ещё не решили, кто тут хозяин.

В тот вечер я впервые подумал о том, что значит быть Шуйским. Не по крови, а по сути. Это значило уметь ждать. Уметь кланяться тому, кого презираешь. Уметь держать при себе знание, которое жжет язык. Я учился этому у дяди, и у меня получалось - получалось слишком хорошо, чтобы оставаться тем учителем, которым я когда-то был.

Анна в те дни стала ещё тише. Она видела, что со мной творится, и не лезла с расспросами, но по вечерам садилась рядом и просто была. Однажды, когда я лежал без сна, она положила ладонь мне на грудь и сказала:

- Сердце у тебя, Ивашко, стучит, как у человека, который

бежит, да бежать ему некуда.

- Мне есть куда, - ответил я. - Просто это место всё дальше.

Что это за место, она спрашивать не стала. Только прижалась теснее. Я почувствовал, как её дыхание выравнивает мой пульс, будто нас двое - одна живая река, которой предстоит пройти через пороги.

Двадцатого июня Москва встречала его у Серпуховских ворот. Город гудел с самого утра, словно растревоженный улей. Торг встал, лавки позакрывались. Люди, побросав дела, валили на южную дорогу, как на крестный ход. Звонили во все колокола. И этот пьяный звон, неровный, плыл над толпой. Было от него не торжественно, а жутко, как перед грозой. Я стоял в толпе, стиснутый со всех сторон, и чувствовал, как под натиском толпы хрустят мои ребра.

Дядя стоял рядом, в парадном кафтане, с непокрытой головой, как велел обычай. Лицо у него было каменное, и лишь желваки под скулами ходили, когда толпа начинала выть: «Государь! Царевич наш! Димитрий!»

Вор въехал в город на белом коне. Невысокий, рыжеватый, с редкой бородкой, в польском кунтуше поверх русского кафтана, без шапки. На царя он похож не был. Он походил на человека, который сам ещё не верит, что его впустили. Как-то нелепо улыбался, кланялся на обе стороны. Потом поднял руку для благословения, белую, без рукавицы. И я вдруг поймал себя на том, что смотрю на эту руку и не

могу отвести глаз.

Белая рука. В перстне.

Перед глазами на миг встал Углич, сумасшедший звонарь на паперти, его шёпот: «Рука белая, без рукавицы, в перстне. И она его поманила». Меня качнуло. Я сжал кулаки и заставил себя смотреть не на руку, а на лицо.

- Не смотри ему в глаза, - шепнул дядя, не разжимая губ.
- Узнает.

- Уже узнал, - ответил я так же тихо.

Потому что на миг, на один только миг, взгляд человека на белом коне скользнул по толпе, зацепился за меня и остановился. Мгновение. Не дольше удара сердца. Но мне хватило: в его глазах мелькнуло то, что я знал лучше всего на свете, - тоска человека, который не понимает, где он и зачем. Он меня не узнал. Он меня почувствовал. Так чувствуют в толпе того, кто тоже не отсюда.

Толпа колыхнулась, подхватила нас, понесла за конём к Кремлю. Дядя сжимал мне локоть, как клещами, и не давал выпасть из людской реки.

В Кремле, на паперти Архангельского собора, он сошёл с коня и пошёл к гробу отца. Он не вошёл внутрь. Остановился у порога, снял шапку, и все увидели, как он пошатнулся, будто что-то не пустило его дальше. Потом заплакал. Громко, по-бабьи, навзрыд, уткнувшись в плечо стоявшему рядом боярину.

Толпа взвыла от умиления. Плачет - значит, истинный

сын, пришёл поклониться отцову гробу. А я смотрел и видел другое: не сына, что плачет над отцом, а человека, который дошёл до порога и вдруг осознал, что за этим порогом лежит не его отец. И заплакал он не от горя, а от ужаса - от того, что даже здесь, на самом дне чужой жизни, он не нашёл ни себя, ни покоя.

Дядя, стоявший рядом, тронул меня за рукав.

- Плачет, - прошептал он с холодным удивлением. - Гляди-ка, плачет.

- Да, плачет. Только не по отцу...

Князь покосился на меня, но спрашивать не стал. А я не стал объяснять.

К вечеру Москва пила и гуляла. Ворота Кремля стояли настежь, у соборов жгли костры, стрельцы и казаки вора ходили по кабакам, и никто уже не понимал, где свой, где чужой. Я вернулся домой затемно, оглохший от звона и крика, и долго стоял во дворе, не решаясь войти.

Анна вышла сама. Увидела моё лицо, взяла за руку и молча увела в дом. И только там, в тепле, у печи, я позволил себе выдохнуть:

- Я видел его. Вблизи. На белом коне.

- И кто он? - спросила она, глядя мне прямо в глаза.

- Никто. В этом-то и ужас. Он - никто. Пустой сосуд, в который не влилось ничего, кроме имени. И теперь это имя едет по Москве на белом коне, а за ним бежит вся страна.

Анна долго молчала, потом перекрестила меня, как мать

сына перед дорогой.

- Тогда держись, - сказала она. - Пустых бояться не надо. Страшно другое: что пустота затягивает. Смотри, чтобы он не затянул и тебя.

Я кивнул. Но в ту ночь, лёжа без сна, я всё думал о том, как он остановился у порога отцова гроба и не смог войти.

Через неделю нас позвали к нему в палаты. Не на Думу, не на приём - отдельно, тихо, будто он хотел разглядеть тех, кто ещё недавно воевал против него. Дядя истолковал это по-своему: «Зовёт - значит, либо миловать будет, либо вынуживать. Идём, но рты на замке».

Шли через Кремль, и Москва вокруг изменилась так, будто прошёл год, а не семь дней. У ворот стояли казаки в чужих жупанах, на площадях торговали вином и не стеснялись. По дворцовым переходам сновали поляки, бряцали саблями, громко смеялись. От этого смеха у меня сводило скулы: это уже был не русский двор, а проходной двор, в который ввалились гости и не собираются уходить.

В палате вор сидел не на троне, а на лавке у окна, в распахнутом кафтане, без шапки, и перебирал пальцами какую-то медную вещицу - не то крест, не то перстень. При нашем появлении он встал, шагнул навстречу и вдруг обнял дядю, как старого друга.

- Князь Василий Иванович! - произнес он радостно. Голос у него был лёгкий, не царский, как у человека, который привык нравиться. - А я уж думал, не придёшь. Сказывали,

боишься меня.

Дядя поклонился ниже, чем следовало, и выговорил ровно:

- Государь, кого мне бояться, кроме Бога и тебя? А тебя я не боюсь - тебе служить хочу.

Он проговорил это так гладко, что даже я, знавший цену его словам, на миг поверил. Вор улыбнулся, махнул рукой, усадил нас, и началась беседа - лёгкая, пустая, как перебор струн. Он спрашивал про Бориса, про то, как тот умирал, про то, что говорили бояре, когда войско под Кромами присягнуло ему. Дядя отвечал, не поднимая глаз, и ни разу не сказал лишнего.

- А ты, - вдруг обратился он ко мне, и я вздрогнул, - ты же болезненный вроде? Но ты говорят, у Шуйских за писаря. Счётом ведаешь. Это хорошо. Мне такие нужны. Нынче все врут, а цифры не врут.

Он засмеялся, и смех у него вышел слишком громким, одиноким, как выстрел в пустой комнате.

- Сочти-ка мне, писарь, - продолжал он, подавшись вперёд, - сколько в Москве бояр, которые меня завтра продадут. Всех сочти. А то я их вижу, а сосчитать не могу: сбиваюсь, память у меня стала короткая. Иногда помню, как в Угличе на коня сажали, а иногда - пусто, будто не я жил.

Он осёкся, поймал взгляд дяди и быстро поправился:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.